

«Как давно Вы пишете стихи? С чего это началось?» — обычный вопрос на встречах с читателями. Но очень уж он напоминает вопрос врача пациенту: «Как давно вы чувствуете недомогание? С чего это началось?» Симптом — стихи. Диагноз — поэт... Вот сижу сейчас, смотрю в окно, где осень вступает в свои права новой палитрой, а грачата «оттачивают стиль» над полями перед отлётом на юга, и сама себя спрашиваю: когда?.. с чего?.. Семья, детство — конечно, главное. Это та родовая твердь, от которой, как от гнезда, оттапливаются птенцы, становясь на крыло. Или пингвинята, впервые покидая родные скалы, закрывают в глубины морские.

Моя семья для послевоенного Советского Союза — классическая. Папа, Наумов Николай Дмитриевич, — офицер Советской армии; мама — Наумова Тамара Григорьевна (в девичестве Лопаткова) — учитель начальных классов советской школы. Бабушку Анастасию Викентьевну я помню только бабушкой, потому что сразу с замужеством дочери она отправилась в большое путешествие вместе со своими детьми, чтобы быть им подмогой в малом бытии. Мой старший брат Сергей родился в Белоруссии, где у мамы с папой началась семейная жизнь. Белая Русь была первым местом службы папы после окончания военного училища, а мама только что закончила педагогическое. На выпускном вечере в клубе они и познакомились... Папа продал свои новенькие хромовые сапоги, на эти деньги справили скромную свадьбу. До сих пор недоумеваю: то ли сапоги тогда были такие дорогие, то ли свадьбы такие дешёвые?..

Я родилась через полтора года после брата уже в Казахстане, куда папу направили в лётную пехоту по обслуживанию атомного полигона. После выхода подземного испытательного взрыва на поверхность и связанных с этим последствий для его здоровья, папу переводят в Уссурийский край, где был специализированный госпиталь. Следом — в Хабаровск, где я впервые оказалась в цивилизованной квартире и долго наотрез отказывалась садиться на унитаз в ванной комнате, потому что он мог страшно рычать.

Из «уссурийского» бытия помню деревянные мостки через болота, по которым мы ходили от дома до «суши». Ещё — детскую ванночку на пороге дома, заполненную кровавым мясом. Это егерь продал нам кабана, но кровавая ванночка ассоциировалась у меня с тигром, потому что в то же время у нас в доме появилась тигровая шкура. Я не знала, что к егерю в капкан попал двухлеток-тигренок, но выпустить его на свободу

не удалось из-за агрессивности пленника. Пришлось пристрелить. Родители купили эту шкуру. На ней-то, выделанной и выветренной, прошли тайные страхи и мечты моего детства вплоть до переезда в Германию (шкуру тигра почему-то не разрешили вывезить из СССР).

Пробуждались ли во мне творческие задатки тогда? Вряд ли. Вундеркиндом я, слава Богу, не была и, как все нормальные дети, жила на ощупь-нюх-вкус. Не всегда было приятно, не все было понятно, но жизнь — интересная штука! Когда я сама уже стала матерью и спрашивала маму: «А я какой была в детстве?» — она отвечала: — Не настырная, как твоя Машенька, а какая-то отвлечённая: смотрела, как сквозь, сама себе вдруг улыбалась, или плакала без причины... очень часто плакала.

Только на Сахалине, куда нас вскоре занесло военным кочевьем, впервые оказавшись на берегу моря, я осознала себя «отдельной» — самой собой, даже одинокой. Эту встречу с морем (с Тишайшим океаном Земли) я помню до сих пор в подробностях.

Так сложилось, что рисовать я начала раньше, чем читать и писать. У нас в семье была драгоценность — большая (в том восприятии — огромная!) книга сказок Александра Сергеевича Пушкина с прекрасными иллюстрациями в стиле «палеха». Вечерами мама садилась на диванчик, раскрывала эту книгу, слева и справа прилеплялись мы с братом, и она неспешно, очень выразительно красивым грудным голосом читала нам сказки, а мы, как заворожённые, разглядывали картинки (телевизора тогда и в помине не было). Наверное, для нашей семейной атмосферы эта книга была чем-то вроде Библии. По крайней мере, по тому благоговению, с которым мы, дети, притекали к ней. Была еще одна «драгоценность» — альбом для рисования. Начинаясь он с папиных рисунков, исполненных карандашом. Это было его увлечение ещё в военном училище. Когда родители поженились, — в альбоме появились и мамины рисунки, ничем не уступающие папиным. Для меня всё это было недостижимо-восхитительно!

На Сахалин я попала уже пятилетней. Брат пошёл в школу. До сих пор помню запах новенького портфеля, учебников, тетрадок, гладиолусов и георгинов в руках парадно наряженных в школьные формы первоклашек. Я, естественно, увязалась за братом и даже пыталась встать в строй рядом с ним, но меня деликатно выудили оттуда, и весь остаток дня я провела в горьких слезах. Чтобы успокоить чадо, мама разрешила мне вместе с Серёжей «делать уроки», даже выдала тетрадки, ручку с пёрышком, карандаши. Чернильница была одна на двоих, что вызывало немало беспокойств для взрослых. Но меня быстренько «снесло» в рисование, как только появились альбом и акварельные краски. Возделенные недостижимые иллюстрации стали творческим поприщем: копировать их было много интереснее, чем выводить чернилами палочки, загогулины и кружочки.

В литературном плане первым этапом было, скорее всего, устное народное творчество. Бабушка Анастасия знала множество колыбельных, заповок, считалок, частушек на белорусском и русском языках, играла на гитаре, папа — на балалайке и гармошке, все пели, и я рано почувствовала вкус к ладно сложенным рифмованным строчкам, сочиняла свои по любому поводу.

Второй (уже чисто писательский) жанр, который я освоила, был эпистолярный. Когда папу перевели на Украину, мне было девять лет. На Сахалине оставалась моя первая и любимая подруга Лариса Шинкарёва, с которой мы избороздили и измечтали всю окрестную тайгу и побережье Анивского залива. Мы тогда жили в военном городке рядом с трассой Южно-Сахалинск — Корсаков. Папа Ларисы был военным егерем. В школу нас возили на автобусе по гравийке в посёлок Соловьёвка — тот самый, где в своё время жил Антон Павлович Чехов, воспламенившийся узнать, в каких условиях живут каторжники Российской периферии.

Мы с Ларисой увлекались геологией, археологией, ботаникой, казалось, жить можно вечно!.. Под кроватью у меня в ящике хранились образцы геологических пород с гравийки, папка с гербариями, останки сине-белой посуды времён японской оккупации, кремневые орудия труда и черепки с древней стоянки на отвесном берегу Анивы... раковины-веера, «пустышки» (бесплодные яйца чаек), расписанные акварелью... были даже засушенная на раковине морская звезда и усопший неведомой смертью жук-носорог.

Предстоящая разлука щемила сердце, и мы договорились, что будем переписываться. Я обещала рассылать всё о далёкой Украине, присылать гербарии, фотографии и книжки на украинском языке. Это немного смягчило расставание, ведь дети так доверчивы к мечте! Мы переписывались более десяти лет. До сих пор помню этот первый адрес: в/ч 47186. Я писала ей и из ГДР, куда вскоре перебрались по очередному папиному назначению, и из Новокузнецка, где обосновалась по окончании школы.

Стихи я стала сочинять ещё в пятом классе, в Новограде-Волынском, утопившем душу в цветущих каштанах мая, в сладости черешни первых дней лета, в аромате белого налива начала августа, в дремучих зарослях «марсианской» ежевики на крутом берегу Случа рядом с еврейским кладбищем времён гражданской войны, сплошь заросшим сиренью и акацией. Ни одной тропы не было через это «погромное» кладбище, — все боялись. Я тогда тоже боялась, как все. И первые опыты стихосложения тоже были в русле «как все». Я стала эпигоном Чуковского и Маршака: «влезла» в них, как в трамвай, и тряслась в общедоступном ритме без остановок. Слава Богу, всё это исчезло при очередном переезде, как всё «моё» благополучно исчезало: и сахалинский ящик с никому не нужными «сокровищами», и тигровая шкура, которую разорвала в клочья немецкая овчарка заменщиков, временно поселившихся в нашей бронированной квартире. Кочевье не располагает к накопительству. Чудом уцелела и доехала до Новокузнецка только выточенная из кости длинная японская шпилька для волос, которую я только что за пазухой не носила, настолько она мне нравилась.

В Германии, классе в седьмом, у меня завелась красивая общая тетрадь с первой лирикой (ну конечно — о любви!). Кумиром поэтических пристрастий стал М.Ю. Лермонтов, периодически сбиваемый извне «актуальным» Асадовым, бравшим наши юные советские души за неопытные юные сердца. Тогда же, увлекшись фантастикой, я стала сочинять фантастические рассказы, для которых была заведена отдельная общая тетрадь. Амбиции превозмогали возможности, но с помощью плагиата просто интересно было сочинять космические эпопеи, выдумывать немыслимые формы разумной жизни, тем более что учебник по астрономии я изучила от корки до корки ещё в пятом классе, страдая от первой любви и рассчитывая, куда бы улететь, и сколько на это потребуется времени...

Не помню, чтобы я обсуждала с родителями радости нового увлечения. В тот же период начинаю осваивать новый «жанр» — дневник. Именно с тринадцати лет, когда сунулась было вступать в комсомол, а мне деликатно предложили «погодить», пока не исполнится четырнадцать. Я же в школу всё-таки просочилась в шесть лет, благодаря маме, но всё время была в классе самой младшей. Так что первый мой дневник начинался с обиды за то, что меня не приняли в комсомольцы одноклассники. Это была уполовиненная общая тетрадь, в которой я писала бисерным почерком, а сам дневник прятала в укромном месте. Уполовиненность дневникового формата сохраняла много лет.

Читала я тогда, как одержимая. А что ещё можно было делать в военном городке, когда TV кажет по-немецки, а душа просит пищи на русском? По окончании десятого класса даже грамоту получила из библиотеки Дома офицеров за самый большой объём прочитанной за год литературы. Так что к шестнадцати годам, когда приехала в Новокузнецк, у меня уже были писательские опыты: в эпистолярном и дневниковом жанрах укоренившиеся, в поэтическом — эпизодические. Не было только «школы». До неё предстояло ещё многое пережить, и это правильно. Жизнь всё-таки — главное, а уж какой она найдёт способ для творческого отклика — решается, наверное, на небесах.

Первым ценителем моих «писательских» способностей стал художник Виталий Карманов. Бросив педагогический институт и возмечтав поступить в художественное училище, я попросила его подготовить меня в рисунке и композиции. Работая санитаркой в хирургии, в уникальной библиотеке 1-й клинической больницы, я познакомилась с «Письмами» Ван-Гога, творчеством и жизнью Чюрлёниса, Врубеля, но чувствовала, что для поступления не хватает школы. Папку со своими художественными опытами реквизировала у родителей (надо же, сохранили!). На Карманова меня вывела подруга Светлана Голикова. Закончив «иняз» и получив распределение в Прокопьевск, она решила последний летний месяц подработать кондуктором

в автобусе. Ей попался маршрут 52, проходящий через Старокузнецк. Однажды в салон ввалились два слегка нетрезвых типа с длинными волосами и донкихотскими бородами.

— Вы художники? — спросила она, обилечивая их.

— А что, не видно? — ответили оба, смеясь.

Светлана объяснила мою ситуацию и попросила хотя бы посмотреть мои работы.

— Веди!

Это были Иван Шмидт и Виталий Карманов. Во время первых собеседований я обмолвилась, что не только рисую, но и пишу.

— И что же ты пишешь? — спросил Виталий.

— И стихи, и прозу.

— Да ты что?! Такая молоденькая, а тебе уже есть о чём писать?

— Допустим, есть.

— Ну-ну... А дай что-нибудь почитать.

— Хорошо. Завтра принесу.

Стихи показать не смогла, почему-то постеснялась, а вот новеллу «Подснежник» об одной четырнадцатилетней девочке нелёгкой судьбы, с которой меня столкнула жизнь, принесла. Две школьные тетрадки, забитые убористым красивым почерком (был когда-то у меня такой) легли в живописно замызганные масляной краской руки Карманова. Пока Виталий читал, я успела сходить в магазин и купить всё, что он попросил «по списку». Ещё и прогулялась по дворам, освобождаясь от естественно нахлынувшего волнения. Дело было на 30-ом квартале, где в полуподвале пятиподъездной пятиэтажки располагались от торца до торца мастерские художников. Когда вернулась с «прогулки», Карманов, возлежащий на софе с моей тетрадкой в руках, вдруг падает на пол, сучит ногами и, захлебываясь хохотом, цитирует какую-то фразу из текста. Кладу авоську возле мольберта, вырываю у него из рук свою тетрадь, беру вторую с засаленного, обычованного стола и отправляюсь в единственный на все мастерские сортир. Там, чиркнув спичкой, сжигаю над смрадным унитазом обе тетрадки. В дверях, взлохмаченный, с ошалелыми глазами, Карманов:

— Что ты делаешь?!

— Ничего. Всё уже сделано. Ты ничего не читал, я ничего не писала. Для тебя, по крайней мере.

— Ду-у-ра-а! Дура! Я смеялся над фразой, а ты сожгла произведение! Дура! Фразу можно исправить... И Гоголь — дурак! Идиоты! Нельзя жечь! Рукописи не горят!..

— Значит, ещё напишу. Всё впереди.

Поостыли, примирились. Виталий даже выпустил целую тираду одобрений по поводу прочитанного только что и сожжённого. А я делала вид, что мне нисколько не жаль этих голубых тетрадок. Нет, конечно же, я поняла, что совершила непоправимое. Но новелла мне самой не нравилась. Надо было быть предельно искренней, только облечь всё в безупречную литературную форму. Искренности хватало, но — в дневниках, которые не предназначались для читателя. А новелла была задумана именно для читателя, и я вцепилась в «литературный язык», как в спасательный круг, однако... искренность, оказывается, не дружила с известными мне литературными клише. Она исчезла. Много позже я, конечно, поняла, что к чему, а тогда это было литературным парадоксом, неразрешимой проблемой. Виталий говорил что-то очень умное, называл имена писателей, которых я даже на слух не знала, и наши последующие встречи, беседы, споры обрастали новыми для меня смыслами как атмосферой, в которой не только можно было дышать, но без которой дышать уже было нечем.

Тем не менее, обстоятельства сложились так, что мне пришлось уехать на Украину к родителям. Мы стали переписываться: для него — забава, для меня — привычный «жанр» общения. Переписка была ежедневной в течение двух месяцев. Виту буквально захлестнули мои эмоциональные послания с анекдотическими ситуациями, подробными лирическими картинками, вопросами, надрывами, житейским «лубком» и философскими отступлениями... со стихами, в конце концов! И он приехал. «Всё. Ты мне нужна каждый день. Выходи за меня замуж». Так у меня появился не только муж, родной и понимающий человек, но и

безжалостный литературный критик. Правда, сначала он заставил меня читать. Мой читательский «реестр» приводил его в ужас: «Как можно в твоём возрасте не знать Бальзака?.. И ты не читала Мопассана?!» (мне было двадцать, ему — тридцать).

— Зато ты не читал материалы Нюрнбергского процесса, Историю Великой отечественной войны и Михайло Стельмаха, — я же тебя не упрекаю... — чистосердечно возражала я. Он ведь знал, в какой семье я жила и в каких условиях. Библиотека его отца Анатолия Ивановича была шикарной! Телевизора мы не держали и вечерами, угнездившись на диване, отдавались очередному писателю в плен: Вита читал вслух, а я рядом укулельничала, обшивая и обвязывая его с ног до головы. Помню вечер «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле: денег было минимум, и мы в «Океане» купили «кошачьей рыбки» мойвы, натушив с луком по моему рецепту огромную сковороду. Произведение средневекового классика вызвало у нас слюноотделение до тошноты.

— Всё! Жрём мойву, я больше читать не могу, — захлопнул книгу Вита, — до лучших времён, Пингвин. Давай на сон грядущий поболтаем о... птичках.

— Давай лучше о море, ты ведь никогда там не был.

— Только без гастрономических подробностей!

— При чем тут это? Кстати, мы с бабушкой после шторма собирали морскую капусту, представляешь? Это огромные ленты, но бабушка выбирала не побуревшие...

— Морская капуста с кальмарами!

— Какие кальмары? Мы её промывали, шинковали, варили и солили в трехлитровых банках с чесноком...

— Только не рассказывай, как к вашему магазину в Южно-Сахалинске подкатывал грузовик, вываливал на асфальт крабов, и вы несли их в авоськах, а торчащие клешни шевелились... варвары!.. о, крабовые лапки на закусочку!

— Вита, у тебя слишком богатое... гастрономическое воображение. Если я говорю «краб», это не значит, что я предлагаю его есть. Вообще-то я их боялась, когда они пробегали мимо...

— А у тебя нет вкуса к слову! Ещё поэтом себя мнишь...

— Есть! Если три раза сказать «лимон», у меня будет полный рот слюны.

— Клоп-клоп-клоп! Пошли поглощать мойву, Пингвин.

Это было уже начало литературной школы, пусть и своеобразное, но уроки до сих пор работают: что я вижу и ощущаю, читая чей-то текст? Иногда хочется упасть со стула и захлебнуться хохотом, цитируя. Но сжигать ничего нельзя. Надо работать над текстом.

Мы любили «дышать» новыми авторами, которые входили в жизнь «живьём», потому что и у Виты, и у меня было богатое воображение. Даже Евангелие я впервые услышала из его уст, уже в мастерской на мансарде по проспекту Metallургов, — после удачного обмена «макулатурой», собираемой пионерами по этажам. Вита им увязал и даже спустил вниз свои кипы, а взамен, порывшись, выудил Гоголя, Чехова и книжку без корочек, — это и было Евангелие.

В тысяча девятьсот семьдесят девятом году (после нашего посмертно-рожденного сына Ромки) Вита с друзьями, Сашей Бобкиным, Сашей Мореевым и Колей Бахаревым, собственноручно привели меня, раздавленную депрессией, в литературное объединение «Гренада», которое и стало моей первой профессиональной школой. Руководил ей тогда Евгений Богданов, журналист и прозаик. Из поэтической братии того времени помню Владимира Горбася, Владимира Петраша, Леонида Сербина, Игоря Гурьянова, Колю Николаевского, Стаса Долгова, — это начало. Через год я уже вошла в круг «Притомья» — областного литературного объединения, где и обсуждалась на семинаре. Областные мэтры меня не приняли, углядев в стихах подражание Цветаевой. «А кто такая Цветаева?» — спрашиваю Виту. «Достану. У Юры Люленкова есть, почитаем». Единственным «мэтром», всё-таки углядевшим во мне смысл, был Игорь Киселёв. С ним мы переписывались до самой его смерти. А из «молодых» кемеровчан я попала в круг значимых тогда поэтов: Александр Ибрагимов, Николай Колмогоров, Сергей Донбай, Леонид Гержидович, Виталий Крёков, Владимир Соколов. До сих пор помню дух братства! Они были на десять-двадцать лет старше меня, но дружба не ведает возраста, у неё другие временные координаты.

Атмосфера в начале восьмидесятых там царил парнасская. Поэты — стилистически разные, характерные, дерзновенные; отношения друг с другом — распахнутые. Именно оттуда и от тогда повелось у нас, где бы ни встретились, приветствоваться объятиями. Эти годы, трудноописуемые в мемуарном стиле, я вспоминаю лицами и объятиями, стихами и лицами. В тысяча девятьсот восемьдесят восьмом я вышла (вернее, вынужденно выпала) из литературной среды и надолго, потому что у меня родилась дочь в новом браке, и потому что началась пресловутая перестройка. Но, благодаря творческому опыту, моя внутренняя жизнь в любых обстоятельствах оставалась «под высоким напряжением». И уже в новом тысячелетии стали одна за другой выходить книги, причем, в «своем стиле» — проза и стихи вместе. И разорвать этот сплав было невозможно, стихи-то я писала в дневниках... бумаги на черновики не было. По поводу «стали выходить» — дополнение: появились спонсоры, которые почему-то вкладывали свои «кровные» в какую-то там поэтку, которую вообще-то узнали как художника: я вышивала шёлком (гладью) иконы на заказ, это и обеспечивало выживаемость мне и моей несовершеннолетней дочери. Такая сугубая «проза выживаемости» привела к тому, что и сами стихи стали «дневниковыми», лишёнными летучей фантазии, замысловатой сюжетной выдумки, витиеватого метафорического декора и «дамских» словесных аксессуаров. Жизнь шла внахлест, и я внахлест рифмовала то, что ритмически просилось в строку. Но это было уже вне «школ» и «опытов». Началась реальная литературная судьба. После пяти лет, проведенных в монастыре «на послушании», у меня осталось два способа самовыражения: строка — в слове и стихок — в шёлке. Оба келейные. Очень разные способы — как две стороны Луны: одну мы всё время видим (в любых атмосферных вариациях и в любых фазах), а другую, сокровенную, — не видим никогда. Моё литературное творчество — это «видимая стороны Луны», она всегда обращена к Земле, и зависима от неё, и влияет на неё... Моё иконописное «шелкопрядство» вообще не подлежит анализу, даже моему собственному, ибо «та сторона Луны» никогда не смотрит на Землю.

Дневники и письма — стило, которое десятилетиями оттачивало и мысль, и речь, и стихи. Судя по всему, это и есть «стиль», по поводу которого так многословствуют литературоведы. Стихи капризны: они приходят и уходят (бывает — надолго). Я всегда думала, что Поэзия всё-таки соответствует молодости: мечтам, кумирам, тайнам, буйству сил, дерзновению, способности влюбляться до потери пульса, безумным жертвам и жертвенным подвигам... Оказывается — нет! За биологический возраст она не цепляется. Когда и как началось — ещё можно отследить задним числом. А когда и как закончится?.. Артюр Рембо закончил в девятнадцать лет. У Георгия Иванова есть «Посмертный дневник» (шедевр!), который записывался супругой Ириной Одоевцевой под диктовку умирающего поэта. Ему тогда было шестьдесят один год:

***«Александр Сергеевич, я о Вас скучаю.
С Вами посидеть бы, с Вами б выпить чаю...»***

А Зинаида Миркина и в свои «за восемьдесят» пишет изумительной чистоты и прозрачности стихи:

***«О несказанном не сказать.
Беззвучие нельзя услышать.
Но есть такая благодать
Во всём, что выше нас и тише!..»***

Когда и как начинается Поэзия? Наверное, когда человек (человечек) начинает вслушиваться, всматриваться в мир вокруг и вдруг хочет ему что-то сказать, как-то ответить на красоту или безобразия, радость или боль, о чем-то спросить — о самом главном...

Ведь Поэзия — это только одна часть диалога, явленная в слове. Другая известна лишь автору.